

Б. В. Федоренко

О ПОВЕСТИ ДОСТОЕВСКОГО «КРОТКАЯ» И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ

Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее,
да и то понаслышке, а концы и начала —
это всё еще пока для человека фантастическое.

Достоевский (23; 145)

Булонь-сюр-Мер во Франции, Владимир на реке Клязьма в России, два города из немалого числа городов, в которых Достоевскому доводилось бывать, останавливаться, жить.

В Булони, в первой половине июля 1862 г., он оставался просто считанные часы, на пути Париж — Лондон, Лондон — Париж¹; во Владимире оказывался вместе с женой Марией Дмитриевной трижды — в августе 1859 г., почти что в конце изнурительной поездки, направляясь после долгой каторги и такой же долгой солдатчины в Тверь, потом в первых числах апреля 1863 г. и, наконец, в октябре-ноябре того же года.²

В повести «Кроткая» открытое, осознанное и освоенное писателем слово *Булонь* возникает как-то нечаянно. Наряду с названиями российских столиц, Сенной площади и Полицейского моста в Петербурге и ссылками на петербургскую же газету «Голос», вплетаясь в воспоминания владельца кассы ссуд, Закладчика, мужа Кроткой, оно определяет пространственную составляющую событий. Но одновременно оно же выражает для героя складывающееся «новое» (24; 28), оно для него как некая приметная черта между *было* и *будет*.

Закладчика поразило, что Кроткая «такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое, губы побелели, — меня всё это, — говорит он, — в целом, вместе с задумчивостью, чрезвычайно и разом фразировало. Я уже и прежде слышал маленький сухой кашель, по ночам особенно» (24; 26). Потом были слова доктора, не сказавшего собственно ничего, «кроме того, что есть слабость или там что-то», и заключившего, «что с весной недурно куда-нибудь съездить к морю или, если нельзя, то просто переселиться на дачу» (Там же).

И тут *Булонь*. Закладчик всё твердил: «повезу ее в Булонь купаться в море, теперь, сейчас, через две недели», «начнется всё новое, а главное в Булонь, в Булонь!» (24; 28). «Главное, тут эта поездка в Булонь. Я почему-то всё думал, что Булонь — это всё, что в Булони что-то заключается

¹ См.: Брусовани М. И., Гальперина Р. Г. Заграничные путешествия Ф. М. Достоевского 1862 и 1863 гг. // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1988. Т. 8. С. 278.

² В «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» (СПб., 1993. Т. 1. С. 407) дата поездки его во Владимир помечена последними числами мая, но достаточными документальными данными не подтверждена.

окончательное. „В Булонь, в Булонь!..“» (24; 29); «...весна, Булонь! Там солнце, там новое наше солнце...» (24; 30).

Но для Кроткой? Она слушала, боялась, плакала. И совсем неожиданно у неё вырывается запавшее ей в душу новое, свое: «— *А я думала, что вы меня оставите так...*» (24; 28). И, отсекая Булонь, это *так* сливается со стоящим рядом образом Богородицы и с настезь открытым окном... А затем камни, и чей-то крик, скорее причитание: «с горстку крови из рта вышло, с горстку, с горстку» (24; 33).

Образ и окно, может быть в какие-то десять минут. «...Образ ее (тот самый образ Богородицы), — говорила преданная Кроткой служанка, — у неё вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. „Что вы, барыня?“ — „Ничего, Лукерья, ступай ... Постой Лукерья“, — подошла к ней и поцеловала ее. „Счастливы вы, говорю, барыня?“ — „Да, Лукерья“. — „Давно, барыня, следовало бы барину к вам прийти прощения попросить... Слава Богу, что вы помирились“ — „Хорошо, говорит, Лукерья, уйди Лукерья“, — и улыбнулась этак, да странно так» (24; 32–33).

Кротость, бунт, окно, кровь.

Что-то из «концов и начал» в «безмерном видимо-текущем», замеченное Достоевским.

Но вот, если сблизить или, лучше, пусть только понаслышке — «перевести» сказанное на складывавшуюся устойчивость отношений в житье-бытье мужа и жены Достоевских, то равно и в ней, в устойчивости, возникнет своё *так*. Уразуметь, установить, первым ли Федор Михайлович решился определиться, первой ли Марья Дмитриевна решилась определиться по этому *так*, нам просто не дано: отсутствуют данные. Но, утверждая свое *так*, Марья Дмитриевна остановилась на городе Владимире. И ее *так*, и сам выбранный город Достоевский принял. И кажется, не Закладчик, а Федор Михайлович говорит сам и о себе: «...пелена висела передо мною и слепила мой ум. Роковая, страшная пелена! Как это случилось, что всё это вдруг упало с глаз и я вдруг прозрел и всё понял! Случай ли это был, день ли пришел такой срочный, солнечный ли луч зажег в отупевшем уме моем мысль и догадку? Нет, не мысль и не догадка были тут, а тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая было жилка, затряслась и ожила и озарила всю отупевшую мою душу» (24; 26).

И он же в письме от 17 июня 1863 г. И. С. Тургеневу из Петербурга в Баден, оправдываясь, имея в виду свое затянувшееся молчание, объяснял: «А что касается до предыдущих писем (Тургенева. — Б. Ф.), то болезнь жены (чахотка), расставание мое с нею (потому что она, пережив весну (то есть не умерев в Петербурге), оставила Петербург на лето, а может быть и долее, причем я сам ее сопровождал из Петербурга, в котором она не могла переносить более климата); наконец, моя серьезная и довольно долгая болезнь по возвращении в Петербург (В подлиннике описка: «из Петербурга». — Б. Ф.), всё это опять-таки помешало мне писать к Вам до сих пор» (28₂; 33). Напоминания о никуда негодном климате и тяжелейшей болезни жены, вне сомнения, являются всего лишь прикрытием

в письме глубинных причин расставания. И не «*может быть и далее*», сказанное Достоевским как бы в оговорке, но — в согласии принятое, утвержденное уже *навсегда*. Достоевский сопровождал, Марья Дмитриевна оставляла и оставила. Так, видимо, было взаимно одобрено заходя: прощание в меру спокойное, и Федор Михайлович «не жалел, не звал, не плакал».

«Сопровождение» его отличалось такой стремительностью, что уже 5 апреля в счет книжного магазина за отобранные и взятые им по возвращении в столицу книги была вписана, наравне с прочими, строка: «„Русский вестник“ с пересылкою Марье Дмитриевне»³.

И следом шаги, связанные с поездкой за рубеж, в порядке заботы о собственном здоровье и состоявшемся собственном *так*. Ему, «отставному подпоручику Федору Михайловичу Достоевскому», страдающему, как записано в медицинском свидетельстве, «падучею болезнью <...> полезно будет для излечения этой болезни употребление морских купаний в океане»⁴.

Дата свидетельства — 12 апреля 1863 г. — почти совпадает с датой в другом письме, из Парижа в Петербург, отосланном днем ранее — 11 апреля. Автор свидетельства и автор письма, располагаясь друг от друга за тысячи верст, будто сговорившись, пишут о «надобностях»: один — в морских купаниях, другая — несколько иначе: «Я почти нигде не была, ничего не видала и думаю оставить осматривать Париж до приезда Федора Михайловича». И в заключение: «Если общий смысл жизни не дается, так что по сути к его пониманию встречается бездна сомнений, нужно брать то, в чем уверен. До сих пор я не встречала здесь ни одного человека, сколько-нибудь близкого по мнениям, и думаю, что пропаду со скуки, если не приедет Федор Михайлович». Подпись: «Аполинария Суслова»⁵.

Достоевский, запаздывая из-за журнальных дел, прибыл в Париж утром 14 августа. Ничего достойного внимания во французской столице он не отыскал, она скоро ему «омерзела» (28₂; 44), и потому он ее оставил, правда, сообразовываясь также с пожеланиями особы, с которой путешествовал.

В исходе октября того же года опять город Владимир и Марья Дмитриевна у «окна», распахнутого болезнью. В ноябре в письме Достоевского, в единственном, случайно сохранившемся его владимирском письме: «Вполне будущности моей теперь не знаю и определить не могу. Здоровье Марьи Дмитриевны очень нехорошо. Вот уже два месяца она ужасно больна» (28₂; 55). И некоторое время спустя, уже из Москвы: «Но, кажется я необходим для нее и потому остаюсь... У Марьи Дмитриевны поминутно смерть на уме...» (28₂; 62).

«Окно» близилось. И медлило. Даже за двадцать дней до кончины Марьи Дмитриевны Достоевский в письме к брату писал: «Но она может

³ Летопись жизни и творчества... Т. 1. С. 400.

⁴ ЦГИА, ф. 1286, оп. 24, ед. хр. 127, л. 3.

⁵ Два письма А. П. Сусловой к Я. П. Полонскому / Публ. Г. Л. Боград // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1985. Т. 6. С. 265.

умереть нынче вечером, а между тем сегодня же утром рассчитывала, как будет летом жить на даче и как через три года переедет в Таганрог или в Астрахань» (28₂; 74).

В этом последнем, отмеченном Достоевским штрихе вновь напоминание о выбранном Марьей Дмитриевной *так*. Она продолжает ему следовать и намерена, отказываясь от Петербурга, отправиться на юг и еще дальше на юг — *она, она* переедет!

Такое могло быть. И ничего такого не случилось. Тут — единственно путь, пройденный Кроткой, ее молитва перед образом, прощальный поцелуй, горстка выступившей крови.

«Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить. Мы все ждали кончины. Все мы были около нее. Она со всеми простилась, со всеми примирилась, всем распорядилась» (28₂; 91). «Вчера» — 14 апреля 1864 г., за несколько часов до смерти Марьи Дмитриевны. И в том же письме Достоевский сообщает о словах родственника-доктора, который «сказал *решительно*, что ныне умрет». Слово «*решительно*» выделено Федором Михайловичем в письме подчеркиванием, с сугубым усилением: «И это несомненно» (Там же).

Так Кроткой и *так* Марьи Дмитриевны, тронутые, окрашенные, пропитанные кровью, каждое ценою в жизнь.

Но «какие, — воспользуемся словами автора «Дневника писателя», — две разные смерти!» (23; 146). И какая из двух этих душ, выписанная на страницах повествования или действительно жившая рядом с Автором, больше мучилась?

Разные смерти, схожие утраты, раздумья.

Кроткая. Но еще прежде — бедная молодая швея. Обстоятельствам, связанным со смиренным самоубийством девушки, отведен целиком абзац в одной из главок в октябрьском выпуске «Дневника писателя». «С месяц тому назад, — записано Достоевским, — во всех петербургских газетах появилось несколько коротеньких строчек мелким шрифтом об одном петербургском самоубийстве: выбросилась из окна, из четвертого этажа, одна бедная молодая девушка, швея, — „потому что никак не могла приискать себе для пропитания работы“. Прибавлялось, что выбросилась она и упала на землю, держа в руках образ. Этот образ в руках — странная и неслыханная еще в самоубийстве черта! Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто — стало нельзя жить, „Бог не захотел“ и — умерла, помолвившись» (23; 146).

Стоит обратить внимание на указание Достоевского: «во всех петербургских газетах» и на слова взятые им в кавычки: «потому что никак не могла приискать себе для пропитания работы». Если ссылка на «все газеты» указывает на его чрезвычайную увлеченность вычитанной «неслыханной еще <...> чертой», то слова, выделенные кавычками, позволяют попытаться установить название газеты, ее номер и дату. Вопреки указаниям ПСС (см.: 23; 407–408), это не сообщение, появившееся в газете

«Биржевые ведомости» (1876. 2 октября. № 272) или в газетах «Голос» (1876. 2 октября. № 272) и «Санкт-Петербургские ведомости» (1876. 2 октября. № 272), и тем более не сообщением в газете «Новое время» (1876. 3 октября. № 215)⁶, которое в «Летописи жизни и творчества Достоевского» подано как основное⁷, но в котором подробности о пропитании и поисках работы не упоминаются. В «Новом времени» сообщалось, что Борисова «приехала из Москвы, не имея здесь никаких родственников, занималась подневной работою и последнее время часто жаловалась на то, что труд ее скудно оплачивается, а средства, привезенные из Москвы, выходят, поэтому страшилась за будущее». Отмечалось также, что икона, оказавшаяся в руках Борисовой, была образом «Божией Матери — благословение ее родителей. Борисова была поднята в бесчувственном состоянии и отправлена в больницу, где через несколько минут умерла»⁸.

Было бы, как нам представляется, куда точнее, пользуясь «всеми газетами», вписать в летопись жизни и творчества писателя данные из газет, явившихся в свет до 3 октября, пусть даже из указанного выше номера «Голоса» от 2 октября или «Санкт-Петербургских ведомостей» от того же числа, в которых сообщалось:

«30-го октября, в Галерной улице, в доме Овсянникова, бывшем Утина, из квартиры шестого этажа, выбросилась в окно девица, московская мещанка Марья Борисова, 24 лет, и убилась до смерти. Покойная недавно приехала в Петербург, с родины, с целью *приискать* здесь место. Остановилась в доме Овсянникова, в квартире № 73, и, не имея места, жаловалась, что ей *нечем существовать*. В 12-м часу дня, когда квартирная хозяйка ушла за провизией, Борисова разбила окно и, выйдя на крышу перед окном, с образом в руках, перекрестилась и бросилась во двор».

Газета, единственная из «всех газет», не только с чем-то сходным с процитированным Достоевским: *приискать место — приискать работу*, но еще и с датой 2 октября, соотносящейся с датой записи в записной тетради Достоевского 1876 г. о готовности его откликнуться на мелькнувшее в газетах скорбное известие. Готовность его, отмеченная словом «Рассказ» в записанной им «Предварительной программе» из четырех пунктов («элементов») октябрьского выпуска «Дневника писателя»:

«Октябрь

Октябрьский №

(Первоначальная программа)

4 элемента

1. О вспомоществовании молодежи.
2. Ответ на письма.
3. Рассказ.
4. Восточный вопрос (в самом конце)» (24; 267).

⁶ Перепечатано в примечаниях к «Кроткой» в изд.: Достоевский Ф. М. Собр. соч. М., 1958. Т. 10. С. 518.

⁷ См.: Летопись жизни и творчества... СПб., 1995. Т. 3. С. 132.

⁸ С.-Петербургские ведомости. 1876. 2 октября. № 272.

Можно думать, что в тот же день, в субботу, 2 октября, у Достоевского нашлось и название рассказа — «Девушка с образом», и даже наметился его сюжет.⁹

Но этот—то задуманный рассказ о самоубийстве бедной швеи разом вернул внимание Достоевского к другому, ставшему ему известным намного ранее случаю — самоубийству «дочери эмигранта». И 4 октября он составляет новый план, обозначает новые «элементы», находит новый порядок:

«Герцена дочь.

Бродяги. Пауперизм.

С образом из окна.

Лучшие люди» (24; 268).

В записной тетради писателя вслед за отметками: «„Новое время“. Суббота, 16 октября, № 228 <...>» «„Биржевые“ от субботы, 16 <...>» (24; 274), в ряду иных запись:

«1) Две смерти. Дочь Герцена. Холодный мрак и скука. Мачеха.

2) Потом из окна с образом. Смирненное самоубийство. Мир Божий не для меня. Как-то потом долго думается» (24; 275).

И окончательно, в планируемом октябрьском выпуске «Дневника»:

«Глава первая. 1. Простое, но мудреное дело.

2. Несколько заметок о простоте и упрощенности.

3. Два самоубийства.

4. Приговор» (24; 288).

Найденное и закрепленное в рабочей тетради наречно—глагольное словосочетание «долго думается» (24; 275) не только было Достоевским введено, почти не измененным, в текст главки «Два самоубийства» (Дневник писателя. 1876. Октябрь. Глава первая. § III), но и дополнено словами уточняющими, для большей ясности и, главное, значимости. Для сравнения — отрывок из сохранившегося чернового автографа и соответственный отрывок печатного текста:

«Об иных вещах как-то думается, как они с виду *ни просты*. И долго не перестается думать. Эта кроткая, истребившая себя душа мучает вашу мысль [А между тем подумайте и вы найдете] своей трогательной беззащитностью» (23; 326).

«Об иных вещах, как они с виду *ни просты*, долго не перестается думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучает мысль» (23; 146).

Долго думается... как-то думается... долго не перестается думать... как-то мерещится... За каждым из словосочетаний, перебираемых автором, отдаваясь, стушевываясь, — исчезающая Марья Борисова, девушка с образом, и одновременно, сливаясь с ней и вытесняя ее, — другая, Кроткая, которой предстояло *быть*. И в окончательном тексте повести единственная черта, связанная с молодой швеей, единственный факт: «С образом».

⁹ В ноябре 1876 г., предваряя наброски к повести «Кроткая», писатель записывает в рабочей тетради: «Осмотреть старый материал сюжетов повестей <...> Девушка с образом» (24; 314).

О «намеревшемся» и вещах иных, о тех, о которых сказано: «точно вы в них виноваты» (Там же), — записывает Достоевский в рабочей тетради — почти планомерно, почти последовательно, — по-видимому, 12 ноября 1876 г.¹⁰, заполняя целых четыре страницы (см.: 24; 326–332).

И в первой строке вслед за названием: «С строгим удивлением. С горстку. Все это будет возрастать (то есть впечатление в дальнейшем)» (24; 326).

И еще: «Вот пока она здесь, еще хорошо: подхожу и смотрю каждые десять минут, а унесут ее завтра, и — как же я останусь один?» (Там же).

«Я хожу, хожу, хожу. Как же я буду?» (24; 327).

«Гроб белый, цветы (это я велел принести цветы). Наталья принесла букет» (Там же).

«Она отвергла мою любовь. Запугал ее» (Там же).

«Строгое удивление. И я в этом строгом удивлении, „тут только“, *в первый раз* (! — знак Достоевского. — Б. Ф.) я постиг — всё, чего не понимал я, — ту совершенную и давнишнюю отчужденность ее от меня! А ведь я, представьте, я всё думал, что она меня любит и терзается любовью ко мне и угрызениями совести. *Я как деспот наслаждался этой мыслью все 1½ года.* (NB. Это — подчеркнутое — про себя и мельком.)» (24; 328).

¹⁰ Указанная дата определяется по месту записей относительно друг друга в рабочей тетради Достоевского на стр. 145–151. Набросками к «Кроткой» заняты стр. 147–150. Записи за 12 ноября к очередному выпуску «Дневника» занимают стр. 145–146. Для записей за 11, 12, 13 и 14 ноября использована стр. 151. Особенно значимыми кажутся две записи на стр. 146. Дата и источники текста в них не обозначены. И тем не менее и та и другая внесены Достоевским в тетрадь именно 12 ноября. Первая, в несколько строк, о спиритизме, во второй замечание об английском полковнике Мак-Ивере и напечатанной им брошюре (см.: 24; 292). Чтобы вполне уяснить причины, заставившие Достоевского возвратиться к теме спиритизма, необходимо иметь в виду следующее: во-первых, объявление об издании журнала «Свет», помещенное Достоевским по просьбе профессора Н. П. Вагнера в октябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (см.: 29₂; 127); во-вторых, разъяснение Достоевского (в декабрьском выпуске «Дневника») об участии его в издании названного журнала («...ни в замысле, ни в плане, ни в соредактировании его не участвую. Даже самая идея будущего журнала мне еще совсем неизвестна <...> Издание это мне чужое...» — 24; 60); в-третьих, открытое письмо Н. П. Вагнера, опубликованное в «С.-Петербургских ведомостях» от 12 ноября 1876 г.: «М<илостивые> г<осудари>. В № 307 „СПб. Ведомостей“ была помещена инсинуационная заметка, перепечатанная на другой же день, с тенденциозной поспешностью, редакцией „Голоса“. Эта заметка извещала публику о предпринимаемом новом ежемесячном издании и вместе с тем напоминала всем, кому следует напомнить, что редактором этого издания будет „известный защитник спиритизма профессор Вагнер“. Разрывая в редактируемом мною издании всякую солидарность с спиритизмом, я во все не желаю этим показать, что мои убеждения в реальности и объективности медиумических явлений хотя сколько-нибудь пошатнулись. В издании „Света“ обещался принять сотрудничество мой многоуважаемый товарищ „известный противник спиритизма профессор Д. И. Менделеев“. Следовательно, все спиритофобы могут вполне успокоиться гарантией этого почтенного имени. Прим<ите>. И пр<очее>. Н. Вагнер. С.-Петербург, 1876. г., ноября 11». В записи о Мак-Ивере, следующей за записью о спиритизме, отражены сведения из «Петербургской газеты» (1876. 11 ноября. № 222), «С.-Петербургских ведомостей» (1876. 12 ноября. № 255), «Нового времени» (1876. 12 ноября. № 255), «Гражданина» (1876. № 38–40. С. 965: «обугленные останки старухи, страшно изуродованной»; ср.: 24; 292: «Старухи обугленные»).

«Мельком. Костюм мой, старое пальто, но чистота (белье, например)» (24; 329).

«В самом конце уже после: я хожу, хожу, хожу — я не знаю, презирала она меня или нет? Не думаю, что презирала <...> Давеча еще ходила, говорила...» (Там же).

«Она теперь в гробу, в зале. Я всё хожу. Я хочу себе уяснить это. Вот уж 6 часов как хочу сделать и всё не соберу в точку мыслей» (Там же).

«Она отвергла мою любовь. Это пусть! Это пусть, но пусть она оживет, пусть она того хоть офицера любит, а я буду сзади, с другого тротуара смотреть» (24; 330).

Предлагая повесть читателям и останавливаясь на самом рассказе, Достоевский в предисловии «От автора» уточняет: «Я озаглавил его „фантастическим“, тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа...» (24; 5). И потом в пояснение, оговариваясь, что это собственно и не рассказ, но и не записки: «[Закладчик] в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, „собрать свои мысли в точку“ <...> Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет его себе <...> Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство» (Там же).

И замечание Достоевского сразу же по необходимости следующее: «Если б мог подслушать его и всё записать за ним стенограф <...> Вот это предположение о записавшем всё стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим» (24; 6).

Итак: Закладчик, Стенограф, Автор.

Однако фантастическое может ведь быть и продолжено.

Стенограф, а далее вровень — Закладчик и Автор. Стенограф, вслушивающийся и всё записывающий за ними. Он в прошлом, он и в настоящем, готовый вести спор, знающий произведения и переписку Автора, знакомый с воспоминаниями его современников, не один раз листавший сохранившиеся источники текста повести, осведомленный по части житейских будней Автора и Закладчика и их подноготной.

Кстати, о подноготной. И даже не о подноготной собственно, а о стараниях, усилиях Автора, Закладчика тоже, вывести кое-что о кое-какой подноготной, вывести еще до ожидаемого «Да» Марьи Дмитриевны и ожидаемого «Да» Кроткой.

У Автора в письме к А. Е. Врангелю от 23 марта 1856 г.: «Решительный ответ, то есть узнаю всю подноготную ко 2-му апреля» (28₁; 213). И повторно: «Следовательно, это еще далеко не решено. Ко 2-му апреля жду от нее письма. Я требовал полной откровенности и тогда узнаю всю подноготную» (Там же).

У Закладчика с большей полнотой: «В тот же день я пошел на последние поиски и узнал об ней всю остальную, уже текущую подноготную;

прежнюю подноготную я знал уже всю от Лукерьи <...> Эта подноготная была так ужасна, что я и не понимаю, как еще можно было смеяться, как она давеча...» (24; 10).

«„Подноготную“, которую я узнал об ней, объясню в одном слове: отец и мать померли, давно уже, три года перед тем, а осталась она у беспорядочных теток. То есть их мало назвать беспорядочными... Обе скверные... У теток три года была в рабстве... Кончили тем, что намеревались продать. Тьфу! Опускаю грязь подробностей» (Там же).

Кстати, о скверных тетках и услужливых кузнецких кумушках — «гадинах» (28₁; 231).

Тетки Кроткой неволей толкали ее к замужеству. Та стала просить, «чтоб только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заели...» (24; 10–11).

Марья Дмитриевна в Кузнецке, «в своем городишке», испытывала точно такие же трудности: «...грустит, отчаивается, больна поминутно, теряет веру в надежды мои, в устройство судьбы нашей и, что всего хуже, — писал Достоевский Врангелю, — окружена <...> людьми, которые смастерят что-нибудь очень недоброе: там есть женихи. Услужливые кумушки разрываются на части, чтоб склонить ее выйти замуж, дать слово кому-то <...> В ожидании шпионят над ней, разведывают...» (28₁; 211); «...одна, окруженная гадами и дрянью, больная и мнительная, далекая от своих и от всякой помощи <...> Кто-то в Томске нуждается в жене и, узнав, что в Кузнецке есть вдова <...> через кузнецких кумушек (гадин, которые ее обижают беспрестанно) предложил ей свою руку <...> начались сплетни, намеки, выпрашивания...» (28₁; 231).

Кстати, о женихах.

У Кроткой в женихах «соседний толстый лавочник, но не простой лавочник, а с двумя бакалейными. Он уже двух жен усахарил и искал третьей...» (24; 10).

К Марье Дмитриевне сватался учитель: «...чего он добивается, не сгубит ли он женщину для своего счастья; ибо ему 24 года, а ей 29, у него нет денег, определенного в будущем и вечный Кузнецк <...> Дурное сердце у него...» (28₁; 236).

Кстати, перечень, ряд соответствий может легко быть продолжен. О свадьбе *à l' anglaise*, например; о приданом, о наследованной сумме, о тратах, «про родительский дом, про отца и мать» (24; 11), о великодушии и великодушнейших, о целях и обстоятельствах, квартире, мебели, даже о сцене Жиль Блаза с архиепископом Гренадским. И о многом другом.

Между тем, записав за Закладчиком почти что последние слова его сбивчивого рассказа — вторую главу, окончание третьей главки «Слишком понимаю» и большую часть главки четвертой «Всего только пять минут опоздал», — Стенограф тут же оказался со своей стенограммой перед Автором. Начиналось «обделывание». Выходило возможнее и правдоподобнее, но не так, как думалось Стенографу.

Два предложения: «Лукерья тут была, а я не видал. Говорит, что говорила со мной» (24; 33) в рассказе «выправлены» Автором. Но он упустил из виду Стенографа, которому в роковые минуты случилось также быть во дворе дома. Он был там, он видел еще живую, лежащую на камнях Кроткую и рядом образ, заметил явившихся полицейских и доктора. Закладчик показался в толпе потом, когда Кроткую уже подняли и в бесчувственном состоянии отправляли в больницу.

Эпизод этот, в заключительной своей части, мог бы быть подобным описанному Автором в романе «Преступление и наказание». Но там уличное происшествие: «Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские <...> Все говорили, кричали, ахали <...> Раздавленного предстояло прибрать в часть и в больницу. Никто не знал его имени.

Между тем Раскольников протеснился и нагнулся еще ближе. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного; он узнал его.

Я его знаю, знаю! — закричал он, протискиваясь совсем вперед, — это чиновник, отставной, титулярный советник, Мармеладов! Он здесь живет, подле, в доме Козеля... Доктора поскорее! Я заплачу, вот! — Он вытащил из кармана деньги и показывал полицейскому. Он был в удивительном волнении.

Полицейские были довольны, что узнали, кто раздавленный. Раскольников назвал и себя, дал свой адрес и всеми силами, как будто дело шло о родном отце, уговаривал перенести поскорее бесчувственного Мармеладова в его квартиру.

— Вот тут, через три дома, — хлопотал он, — дом Козеля, немца, богатого... Он теперь, верно, пьяный, домой пробирался. Я его знаю... Он пьяница... Там у него семейство, жена, дети, дочь одна есть. Пока еще в больницу тащить, а тут, верно, в доме же доктор есть! Я заплачу, заплачу!.. Всё-таки уход будет свой, помогут сейчас, а то он умрет до больницы-то...

Он даже успел сунуть неприметно в руку; дело, впрочем, было ясное и законное, и во всяком случае тут помощь ближе была. Раздавленного подняли и понесли; нашлись помощники. Дом Козеля был шагах в тридцати. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу.

— Сюда, сюда! На лестницу надо вверх головой вносить; оборачивайте... вот так! Я заплачу, я поблагодарю, — бормотал он...

Куда ж тут положить? — спрашивал полицейский, осматриваясь кругом, когда уже втащили в комнату окровавленного и бесчувственного Мармеладова.

— На диван! Кладите прямо на диван, вот сюда головой, — показывал Раскольников.

— Раздавили на улице! Пьяного! — крикнул кто-то из сеней» (6; 136, 138, 139).

Подобное, — случись «пужливые», молодые лошади, — могло бы быть и с Кроткой: законное согласие полицейских, охотники помочь перенести и кто-то решительно бы командовавший: «Дверь, придержите дверь! На лестницу надо вверх головой. Еще два пролета. Один».

Но в повести — преступление! Предстоит принятие немедленных следственных действий. Чины полиции и медики. И еще сам Закладчик, сующий палец в густеющую «горстку» крови. Кроткая даже записки не оставила, что вот, «дескать, „не вините никого в моей смерти“» (24; 34). Будут таскать, как говорил Закладчик Стенографу, без вины Лукерью. Но такую же участь уготовил он и себе, но такая же участь уготовлена и ему. И немедленно. Он будет говорить сам с собою, Стенограф привычно записывать:

«Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что я не признаю ничего <...> О, мне всё равно!» (24; 35).

И в силу вещей, как бы ни хотелось того Автору, Стенограф уверен, он убежден, твердо настаивает на невозможности кому бы то ни было представить «себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка» (24; 5).

Кажется Автору собственное замечание о том, что «это не рассказ и не записки» (24; 5), надлежало бы дополнить новыми словами: «Представьте себе мужа, у которого на столе жена, скончавшаяся несколько часов перед тем».

Закладчик «в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся» (Там же).

Опять *так* Кроткой, опять *так* Марьи Дмитриевны. И в новом наполнении вопрос об их доле мучениц на земле. И этот вопрос вовсе не праздный. Он и позволителен, и оправдан. Он в строчках двух писем Достоевского от 15 апреля 1864 г. к брату Михаилу, написанных одно в дневные часы, другое после семи часов пополудни:

«Марья Дмитриевна умирает тихо, в полной памяти» (28₂; 92).

«Сейчас, в 7 часов вечера, скончалась Марья Дмитриевна <...> Она столько выстрадала теперь, что я не знаю, кто бы мог не примириться с ней» (Там же).

Говоря «примириться», Достоевский разумел в том числе непременно и собственное, свое «примириться». Оно предельно ясно проступает в письме его к А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г.: «Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспредельно, я ее любил тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Всё расскажу <...> несмотря на то что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), — мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла — я хоть мучился, видя (весь год) как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею» (28₂; 116).

Кроткая — не Марья Дмитриевна, и Закладчик — не Федор Михайлович. Но в них, в Кроткой и Закладчике, многое от жены¹¹ и мужа Достоевских, пытавшихся жить счастливо, при том, что они «были <...> положительно несчастны вместе».

Вспоминаются слова из мемуаров Врангеля: «Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно красивая блондинка среднего роста, очень худошавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на ее бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла ее в могилу. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него падучая болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он „без будущности“, говорила она, Федор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости».¹²

И там же: «Мы поехали с Федором Михайловичем провожать Исаевых <...> Ехали, ехали... Но пришла пора и расстаться <...> затихает почтовый колокольчик... а Достоевский всё стоит как вкопанный, безмолвный, склонив голову, слезы катятся по щекам. Я подошел, взял его за руку — он как бы очнулся после долгого сна и, не говоря ни слова, сел со мною в экипаж. Мы вернулись к себе на рассвете. Достоевский не прилег — всё шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою...».¹³

У Достоевского о том же в письме от 4 июля 1855 года к самой Марье Дмитриевне: «Проводив вас до леса и расставшись с вами у той сосны (которую я заметил), мы возвратились с Врангелем рука в руку (он вёл свою лошадь) до гостеприимного хутора Пешехоновых. Тут-то я почувствовал, что осиротел совершенно. Сначала еще было видно ваш тарантас, потом слышно, а наконец всё исчезло <...> мы приехали в город почти на рассвете <...> Дома я еще долго не спал, ходил по комнате, смотрел на занимающуюся зарю и припоминал весь этот год, прошедший для меня так незаметно, припоминал всё, всё...» (28₁; 188).

И становится, кажется, понятным отказ Достоевского отнести последние события повести на сентябрь, как то было во «всех газетах», если говорить не о Кроткой, но о бедной швее и образе в ее руках.

Весна, апрель.

«...надвигалась весна, был уже апрель в половине, вынули двойные рамы, и солнце стало яркими лучами освещать наши молчаливые комнаты» (24; 26).

Молчаливые.

Комнаты.

¹¹ Ср. портретные характеристики: о Марии Дмитриевне: «она блондинка, росту высокого среднего, с прекрасной тальей» (28₁; 259); о Кроткой: «она такая тоненькая, белокуренькая, средне-высокого роста» (24; 6).

¹² Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1990. Т. 1. С. 354–355.

¹³ Там же. С. 357–358.

Наши молчаливые комнаты.

И знаменитые строчки из записной книжки Достоевского 1863–1864 гг.: «16 апреля. Маша лежит на столе, Увижусь ли с Машей?

Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек.

<...> будущая, райская жизнь.

Какая она, где она, на какой планете, в каком центре, в окончательном ли центре, то есть в лоне всеобщего синтеза, то есть Бога? — мы не знаем. Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, которое вряд ли будет и называться человеком (след<овательно>), и понятия мы не имеем, какими будем существам). Эта черта предсказана и предугадана Христом, — великим и конечным идеалом развития всего человечества, — представшим нам, по закону нашей истории, во плоти; эта черта:

„Не женятся и не посягают, а живут, как ангелы Божии“. — Черта глубоко знаменательная.

1) Не *женятся* и не *посягают*, — ибо не для чего; развиваться, достигать цели, посредством смены поколений уже не надо и

2) Женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее оттолкование от гуманизма...» (20; 172–173).

В повести, в предпоследнем ее абзаце, в обращении Закладчика к умершей жене, лежащей вот уже более суток на столе, составленном из двух ломберных: «Слепая, слепая! Мертвая, не слышит! Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя. Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя! Ну, ты бы меня не любила, — и пусть, ну что же? Всё и было бы так, всё бы и оставалось так. Рассказывала бы только мне как другу, — вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили» (24; 35).

И Федор Михайлович, в то же обозначенное им число, 16 апреля, оставаясь в зале у тела умершей Маши, лежащей на столе, который, может быть, составили из двух ломберных, в той же записи, занявшей несколько страниц тетради, в приступах, в подходах „уяснить это“, собрать „в точку мысли“: «Итак, человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда человек не использовал закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравнивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна» (20; 173).

Кроткая. Маша. — «Eheu!»¹⁴. — 16 апреля.

Eheu! — неотделимая, горестная замета Автора рядом с датой.

¹⁴ «Увы, ах» (лат.); ср. запись Достоевского в рабочей тетради 1863–1864 гг.: «16 апреля [1864 г.] (Eheu)» (27; 93).